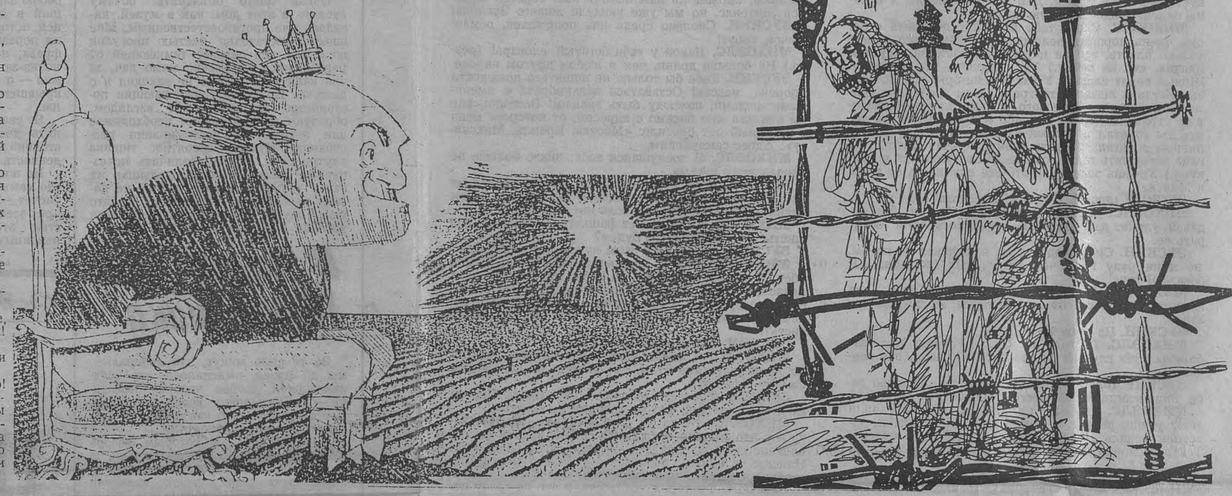
Экран и сцена.—1995.—29 июня—6 июля (№25).—С.8-10

29.06.95
Борщаговский Александр

Александр БОРЩАГОВСКИЙ

КОРОЛЬ и ШУТ

(ТРАГЕДИЯ)



«...Мертвые хотят говорить с живыми
Больше, чем живые с мертвыми,
И имеют больше сказать живым,
Чем живые мертвым».

Эдгар Ли Мастерс.
Из «Антологии Спун-Ривер».

«Зуска — так обращался он ко мне в минуты расположения,— я к нему: «Маха...».

Вениамин Зускин.

ДИАЛОГ ПЕРВЫЙ. Декабрь 1948.

Камера на Лубянке. Тюремная дверь, она откроется только однажды в финале. Арестантская койка заправлена, человек в полосатой пижаме лежит навзничь на полу. Стена — там угадывается зарешеченное окно — уходит в зыбкую полутьму, оттуда порой проливается свет, открывая то некрашеный табурет, то венский стул, то сложенную на полу конскую упряжь, то бутафорский трон из «Короля Лира».

Скуден свет голой лампочки под потолком, но случается, он вспыхивает яростно, раняще.

Арестант зашевелился, незряче поднял к лицу ладони, повел кистями рук, будто разминая их, и вдруг, издав задушенный вопль, вскочил на ноги. В его движениях неуместный артистизм, изящество. Метнулся к койке, спрятался под нее и сразу выглянул, озираясь и прислушиваясь. Схватил стоящие на полу ботинки, сунул их под койку, и вновь, испугавшись, вскочил на ноги.

ЗУСКИН. Доктор! Доктор! Позовите доктора! (*Заметался.*) Я требую доктора! Немедленно разбудите меня! — сколько может спать человек! **(сует босые ноги в ботинки.)** У меня украли шнурки, Эдда! Где мои шнурки и носки? Кто это дурачится, Эдда?! **(мечется по камере.)** Почему меня не разбудят? Я не у себя в палате — моя палата белая. Зачем меня здесь закрыли? **(бросается к двери, колотит по ней.)** Эдда-а-а! Мне обещали: когда разбудят, ты будешь рядом со мной. Врачи обманули меня? Почему лампа так высоко и без абажура? Почему не топят, я же уснул зимой. Москву завалило снегом. Почему не топят?!

Он кидается к двери, барабанит по ней кулаками. Кажется, что от его ударов замигала и погасла лампочка. Короткое мгновение темноты, визг железных петель, спокойный матерящийся голос, высокий, дискантом, крик боли, падение тела. Загорается лампочка, арестант с трудом поднимается с четвереньок, ощупывает челюсть и кричит:

ЗУСКИН. Мне приснилось, что сломана челюсть: не сломана, цела! Почему же больно: мне только приснилось, что ударили, а так больно. Это называется рефлекторные боли? Миха! Миха любил все эти мудрые слова, хлебом его не корми, дай послушать ученые речи. Понимаю, я упал и ушибся: ночью, даже после короткого сна, встаешь как пьяный, а если спать — как я — неделю, две? А что такое рефлекторные боли?

Из полумрака голос Михоэлса.

МИХОЭЛС. Это когда тебя ударяют кистенем или ломом, а умираю я. Когда калечат твою челюсть, а мне не прожевать. Когда бьют одного, а больно всему народу.

ЗУСКИН (враждебно). Соломон Вовси! Ты вернулся мучить меня!

МИХОЭЛС. Я прихожу, когда зовут, только когда зовут. Напрасно кое-кто считал меня пьющим биндюжником: я самый деликатный из всех народных артистов нашей благословенной родины. **(печально.)** Я нежный человек, Зуска.

ЗУСКИН. Я тебя не звал. Случайно, к слову помянул твое имя. Мало кто знает, что я звал тебя Миха.

МИХОЭЛС. Душа твоя позвала, а как я обрадовался!

ЗУСКИН. Я сбежал от тебя в больницу, чтобы ты не являлся мне каждую ночь, чтобы мне не повеситься. Я наконец уснул.

МИХОЭЛС. Мужайся: ты проснулся. Тебе придется постоять за себя: я больше не смогу ни во что вмешаться.

ЗУСКИН. И слава Богу! Ты всегда губил меня. Завидовал и губил.

Фигура Михоэлса проступает из мглы: босоногий, подняв ступни с холодного пола и нижнюю планку табурета, он сидит в костюме и гриме Лира, рядом с троном, на который брошена маленькая, словно игрушечная корона.

МИХОЭЛС (после долгой паузы). Как не позавидовать великому таланту?! Но — любил! Бывали дни, когда я любил тебя больше, чем самого себя. Только женщину я мог любить сильнее.

ЗУСКИН. Уходи. Двадцать пять лет я при тебе как шут, как местечковый Санчо-Пансо. Мертвый ты уже не Михоэлс, ты Соломон Михайлович Вовси. Гражданин Вовси! Михоэлс умер.

МИХОЭЛС. Однажды меня убили, с этим не поспоришь, но умереть я не могу. На моих похоронах вы все успели убедить меня, что Михоэлс будет жить вечно. Зачем вы так усердствовали?!

ЗУСКИН (будто не слышит). Ты умер! Ты не король Лир, ты всех нас привел к краю пропасти, ты никого не пожалеешь.

МИХОЭЛС. Тебе тоже нравились женщины, я замечал это. От греха тебя удерживала...

ЗУСКИН (опережая). Трусость, да? Ничтожество?

МИХОЭЛС. Великий талант не может быть ничтожеством. Тебе робость мешала и нежность. Ты думал, что и каждой женщине непременно нужна нежность и боялся, что у тебя ее не хватит.

ЗУСКИН (с ребяческой вздорностью). Женщинам я нравился! А за что им было тебя любить?

МИХОЭЛС (со смешком). Я забывал спросить их об этом; нам было слишком хорошо, не до разговоров.

ЗУСКИН. Уходи, пошляк! Я позову врачей. Они меня защитят.

МИХОЭЛС. Это их долг: грудью закрыть народного артиста республики.

ЗУСКИН. Четверть века ты насмехаешься.

МИХОЭЛС (резко). Дольше, а если еще каждый год за два, за три! Меня убили через двадцать восемь лет после того, как судьба осчастливила нас **(он церемонно кланяется)** встречей! Знакомством! Сотрудничеством! Горькой взаимной любовью!

ЗУСКИН. Опять хитришь. Я поправлюсь, вернется нормальный сон и я избавлюсь от тебя.

МИХОЭЛС. Помнишь день, когда я, соблазнитель, перевернул твою жизнь?

ЗУСКИН. Помню, черт бы вас побрал, Соломон Вовси!

МИХОЭЛС. Я тогда уже был Михоэлс. Артист! Но меня изводил жестокий мужской пот, а ванной у меня не было. Не было квартиры, была только нужда выше головы и хороший аппетит. Ты был тогда такой аккуратненький, чистенький, провинциальный юноша. Женишок из Меджибожа.

ЗУСКИН. Из Паневежиса! Я не поверил тебе, что ты режиссер, что тебе могли поручить роль Уриэля Акосты! Коротконогому человечку с плечами и спиной дровосека, водовоза, с собачьим прикусом. Запах пота был, противный запах, но ты уже тогда притворялся русским интеллигентом.

МИХОЭЛС. Я был им. Да был — питерским, университетским интеллигентом. Но ванной у меня не было.

ЗУСКИН. Ты уже тогда, с первой минуты притворялся.

МИХОЭЛС. Бедняку притвориться не грех, а тебе, при твоих богатствах, какая нужда притворяться! Ты был как юный Крёз.

ЗУСКИН. Крёз! В отцовских полуботинках, они плохо держались на мне.

МИХОЭЛС (с прихлынувшей нежностью). О-о-о! Ты был одет с иголочки старомодно, в тесной жилетке, но с иголочки. Зачем надевать жилетку, если ты приехал поступать к Вахтангову или к Станиславскому? И вдруг открылось, что ты умеешь печатать на машинке: я даже подумал, что ты не еврей. Только что кончилась гражданская война и погромы, и вдруг молодой человек из Витебска...

ЗУСКИН. Из Паневежиса!

МИХОЭЛС. Тем более! Молодой человек из Паневежиса умеет писать на русской пишущей машинке.

ЗУСКИН. У меня была мечта — поступить в студию Художественного театра к Вахтангову. Я и в мыслях не имел, что где-то есть несчастный еврейский театр. Я искал другую дорогу.

МИХОЭЛС. Ты хотел выбиться в люди! Представляю, как ужаснулись твои родители, узнав, что ты никогда не будешь играть на бывшей императорской сцене; что их красавчик весь жизнь будет отплясывать фрейлахс и рассказывать миру о еврейской нужде.

ЗУСКИН. Не суди весь мир по себе — они обрадовались.

МИХОЭЛС. А ты хотел отдать свои богатства тем, кто и без нас по-царски богат. Отдать свой единственный золотой гребень, у кого русского золота выше головы.

ЗУСКИН. Что ты затвердил: богатство! золото!

МИХОЭЛС. Надо было видеть тебя в казенном, безлюдном коридоре театрального отдела в обеденный перерыв. Твою танцующую походку, твои руки, будто ты всю жизнь от рождения дирижируешь тихой музыкой; твои гримасы, жесты, после которых слова уже не нужны, твою детскую дурацкую улыбку, как будто до тебя на этой земле еще никто не улыбался...

ЗУСКИН. Ты правда поверил в меня?

МИХОЭЛС. Это была большая удача моей жизни. Я боялся одного, что ты не еврей, бывает же и так. Но ты назвался Вениамином, и у меня отлегло от сердца. Не я погубил тебя, а тот, кто научил тебя печатать на машинке. Ты вызвался помочь мне, а из моей бумаги, из ходатайства узнал, что еврейский театр существует и собирается переехать из Питера в Москву. Ты стал расспрашивать и погиб, погряз, утонул или вознесся — это как посмотреть.

ЗУСКИН. Я не поверил, что ты играл Уриэля Акосту, что существует театр, где тебе поручили эту роль. Акоста представлялся мне красивым, как Ромео! **(Пауза.)** А ты решил, что тебе все по плечу, не только портной Шимеле Сорокер, не только Тевье, но и король Лир, и — Гамлет. Думаешь, актеры не знали, что ты тайком готовился сыграть по-русски Гамлета?!

МИХОЭЛС (с болью). Принц Гамлет! Я поздно понял, что эта роль написана Шекспиром специально для меня. Ну, почему не смеешься **(пауза).** Но Уриэля Акосту я играл, плохо играл; а ты принял меня за администратора.

ЗУСКИН (намеренно грубо). За помощника администратора! За гардеробщика! За билетера, которому сунули казенную бумажку! «Эй, Вовси, сбегай в театральный отдел, покрутись, поклянчь там, пусть перепечатают».

МИХОЭЛС. Когда мы через полчаса прогуливались у Александровского сада, ты уже верил каждому моему слову, ты был мой, и полетел бы со мной на Луну. **(Жестом предупреждая протест).** Молчи! Упрямство еще не характер. Ты из тех, кто втихомолку заплачет, чтобы ненароком не обидеть своего обидчика, не оскорбить розги, которыми тебя секут.

ЗУСКИН (забегав по камере). Ложь! Ложь! Ты хочешь унизить меня, отнять волю, чтобы запрячь, закомутать, сделать послушным. После войны меня вызвали в военкомат, военком повертел в руках повестку, посмотрел и на обороте, и строго спросил: «Зускин? А где же Михоэлс?» Хотелось крикнуть: «Я — Зускин! Вот моя метрика, можете снять меня, рядового, с учета, присвоить мне генерала, ваше дело, но при чем здесь Михоэлс?! Михоэлс живет только на сцене, а когда он уходит со сцены — он Соломон Вовси, мой тиран!» Но я промолчал, а Эдда дома сказала мне: тряпка! Когда ты научишься постоять за себя! Почему ты терпишь этого иуду?! Это она о тебе.

МИХОЭЛС (с укоризной). О мертвых молчат или говорят хорошее.

ЗУСКИН. Тогда ты был живой и думал, что держишь Бога за бороду. «Уйди из театра,— просила меня жена.— Уйди, увидишь, как все рухнет, никто не переступит порога театра, люди не купят ни одного билета».

МИХОЭЛС. Ее устами говорила любовь. Прости ее, когда женщина любит, ей прощается и безумие.

ЗУСКИН (забегал, поеживаясь). Холодно! А ты босой. Как можно не обогревать больницу? Почему ты босой? Ты даже сцену бури в степи играл в сапогах — для кого ты теперь устроил спектакль?

МИХОЭЛС. Для тебя. Мы с тобой снова в путешествии, дошли наконец до тюрьмы.

ЗУСКИН. Какая тюрьма! Начитался своего Шекспира и станешь морочить мне голову, что весь мир — тюрьма.

МИХОЭЛС. Человек из Стрэдфорда три века тому назад понял, что мир тюрьма. Что бы он сказал сегодня? Эшафот? Лобное место? Освенцим? Большая газовая печь? **(Он наблюдает за Зускиным, который, страшась, оглядывает камеру.)** Побегать босиком — была моя детская мечта, теперь я могу себе это позволить.

ЗУСКИН. Люди увидят: тебе что, наплевать?! На дворе не ташкентская жара, а московский мороз. Сочельник! Меня должны были разбудить к сочельнику и отпустить домой.

МИХОЭЛС. Эти не любят отпускать домой. Ни в сочельник, ни в Новый год, ни на Ивана Купалу. Ты ведь не крещеный, Вениамин? Или тебя во сне окрестили?

ЗУСКИН. Что ты еще придумаешь?! В моей палате лампа с абажуром. Может, мы в процедурной?

МИХОЭЛС. В процедурной сатаны.

ЗУСКИН. Хочешь свести меня с ума! С того дня, когда тебя убили в Минске, ты не оставлял меня ни на одну ночь.

МИХОЭЛС. Ты думал обо мне, страдал и я вынужден был появляться. Холода не чувствую, голода тоже: когда тебе принесут тюремную баланду — не вздумай делиться со мной.

ЗУСКИН. Зачем тебе баланда, тебе хорошая стопка нужна!

МИХОЭЛС. Конец света, Зуска,— мне и стопка не нужна. Ни рюмка, ни бокал, ни граненый стакан из забегаловки! Поставь на стол полный штоф, мне все равно, как будто это бутафория из папье-маше.

ЗУСКИН. Сейчас подниму на ноги всю больницу — от лечащего врача до санитаров. Ты меня сведешь с ума! **(Кричит).** На помощь!

Зускин пробует отворить дверь, хватает табурет, с которого поднялся Михоэлс, и колотит им по двери. Гаснет свет, скрежещут дверные петли, слышатся стоны, затем вспыхивает слепящий свет. Зускин лежит ничком на полу, стонет.

МИХОЭЛС. Злые дочери отняли у Лира королевство, землю, небеса, веру в людей, а ты выхватил из-под меня табурет, последнее, что подо мной было. Ты не привык к тюрьме, не рад покою, не скажешь спасибо людям, которые стерегут тебя, охраняют от уличных убийц. Тебя били?

ЗУСКИН (сквозь стон). Не помню. Ударили чем-то тяжелым, кулаков таких не бывает.

МИХОЭЛС. Покажи лицо. (Пауза.) Потребуй, чтобы побрили тебя. Ты многое можешь потребовать: ты им нужен, а они тебе нет. Приляг, так-так, с этой койкой надо подружиться, она долго будет твоим собеседником. Ложись на спину. Ботинки падают потому, что выдернули шнурки; арестантам шнурки не положены.

Истошный крик. Зускин пытается приподняться и в изнеможении распластывается на спине.

ЗУСКИН. В этой больнице никто раньше не кричал: здесь не оперируют, не рвут зубы...

МИХОЭЛС. Когда рвут душу, клещами выворачивают ее из тебя, это больнее зубов. **(Вдруг сурово.)** Послушай, любимец Мельпомены: не терял времени. Скоро за тобой придут, им понадобятся твоя ложь, твое малодушие, твои страхи, я хочу, чтобы ты был готов. Да, я чтобы потом в долгой жизни, которую, дай тебе Бог, не стыдился этих дней **(вновь протяжный вопль.)** Это кричит тюрьма: здесь мордуют людей. Всякого звания и любой крови. Здесь камень кричит, стены кричат, как же не закричать человеку? Но берегись: если тебя здесь похвалят, скажут, что ты молодец, настоящий советский человек — это приглашение на Голгофу. Тебя скоро переоденут, отнимут больничную пижаму.

ЗУСКИН. Она домашняя.

МИХОЭЛС. Я думал дома тебя балуют, одевают в шелка; если из больницы не привезли твоей одежды, тебе дадут казенные обноски, и ты в них поумнеешь, поймешь, зачем вынули шнурки из ботинок, зачем бьют, не задав еще ни одного вопроса.

ЗУСКИН. Как я сюда попал?

МИХОЭЛС. Везли спящего: две недели сна — хватит. Ты барин: там лежал один в палате, тут в одиночке. Правила у них другие: общие битком набитые камеры, братские общие могилы, чтобы никому не обидно. Старайся не чернить людей, даже меня, мертвого. Здесь твое слово имеет особенный вес, больше чем тогда, когда, заметив тебя на улице, люди шептали друг другу: «Смотрите, идет Зускин, гений. Их у евреев было всего два, одного убили в Минске; а этот, слава Богу, живой».

ЗУСКИН. Я никогда не был политиком, я жил театром, сценой, любое собрание для меня — мука.

МИХОЭЛС. Ты был народным депутатом.

ЗУСКИН (быстро). Райсовета! Всего-навсего районного совета. Это чепуха, не то что депутат московского городского совета, как некоторые. Я не был карьеристом!

МИХОЭЛС. А я — карьерист! Честолюбец! Выскочка! И конечно, тиран, диктатор, корыстолюбец, чего только ни наговорят теперь обо мне люди. Особенно слабые люди! Чему только они не завидуют: сбежал, сбежал, он сбежал, ему уже ничто не страшно! Ему мол, уже не повредишь, мертвым не больно, мертвые не имут ни страха, ни стыда... Вали на мертвого! Дьявольски было все придумано.

ЗУСКИН. Кем?

МИХОЭЛС. Ты еще пройдешь дорогу к нему. Еще не проснувшись, лежа здесь, на полу, ты принес несчастье в один хороший дом. Ночью арестовали твоего лечащего врача.

ЗУСКИН (потрясен). Нину Петровну? За что?

МИХОЭЛС. Тебя увезли из больницы, а ей приказали молчать, но среди ночи Нина Петровна сообщила твоей жене об аресте. Думала, что если звонит по уличному автомату и говорить будет не она, а ее дочь — студентка, никто не догадается. Они хотели, чтобы до обыска семья не знала о твоем аресте.

ЗУСКИН. Чья семья? Какой обыск?

МИХОЭЛС. В твоем доме обыск уже идет к концу: я бы сказал тебе точно о времени, но у меня украли часы.

ЗУСКИН. У мертвого украли часы?

МИХОЭЛС. Я еще только умирал: лежал на снегу с проломленным виском. Полковник наклонился проверить, как сделана работа, ему послышалось, что мое сердце еще бьется, но это были часы. Американские часы, подарок доктора Эйнштейна. Полковник не знал, что за удачную командировку в Минск его наградят орденом боевого красного знамени и взял часы на память о святой новогодней ночи. Тринадцатое января — старый Новый год.

ЗУСКИН. Что ты плетешь, Миха!

МИХОЭЛС (с блаженной улыбкой). Ми-ха! Славно, когда ты говоришь мне не Вовси, а Миха! Зови меня всегда так, если не трудно.

ЗУСКИН. Трудно! Ты пугаешь меня, чтобы я свихнулся. Мало того, что ты сбросил на меня театр, репетиции, студию, артистов без зарплаты, теперь ты пугаешь обыском. Что можно искать в нашем с Эддой доме?

МИХОЭЛС. Один обыск прошел вчера: в театре, в нашем с тобой кабинете. Приехал важный господин, ты у него сейчас в гостях... Приехал генерал-полковник Абакумов.

ЗУСКИН. Абакумов? Тот?

МИХОЭЛС. Для нас он уже не т о т, он — э т о т; князь тьмы. Явился в наш кабинет с консультантом, знаменитым еврейским поэтом-комиссаром: не станет же первый чекист республики ради нас с тобой изучать идиш,— легче перестрелять всех, кто с детства знает язык, украденный у немцев еще в средние века. Перестрелять и снять национальный вопрос. На квартире Вениамина Львовича Зускина, что на Тверском бульваре двенадцать, у доцента и депутата Советского района четвертый час идет обыск.

ЗУСКИН (не верит). В пять минут все стало бы ясно.

МИХОЭЛС. В твоей квартире сейчас тесно: взяли целую организацию.

ЗУСКИН. Пощади хоть мою святыню — мой дом.

МИХОЭЛС. Ночью Эдда позвонила своим сестрам — Лизе и Эмме, они примчались еще по темному времени; дочерей не отпустили в школу; зашел сосед, Борис Левин; забежала по пути учительница музыки...

ЗУСКИН. Клара Маркина! Она из консерватории, рядом.

МИХОЭЛС. Одного за другим взяли наших, из театра: твой телефон молчал и они стали по одному выходить на разведку — Витис, Терлецкий, Давид Чечик, вся администрация; а в центре всего — онемевший от страха иностранный агент, инженер из Риги.

ЗУСКИН. Гомза?! Боже мой — бедный Мазус Гомза. Он собирался к Новому году в Москву.

МИХОЭЛС (мрачно). Прибыл. На Лубянку.

ЗУСКИН. Для тебя нет ничего святого, только бы потешиться!

МИХОЭЛС. Если бы мы разучились смеяться над собой, как бы мы выжили? Когда в Нью-Йорке я остался с Эйнштейном в его квартире, он спросил, есть ли в России антисемитизм?

ЗУСКИН. Представляю, что ты ему нагородил.

МИХОЭЛС. Такая встреча случается один раз в три жизни, а у меня жизнь была одна. Я долго молчал, он пожалел меня, положил руку мне на колено и сказал: «Я знаю — есть!» «Почему? Почему ты знаешь?» — от растерянности я перешел с ним на «ты».— «Потому что есть евреи...» **(Зускин хмыкнул.)** Ты не согласен?

ЗУСКИН. Как устроены мозги у этих ученых! «Потому что у вас есть евреи». Дважды два — четыре! А в высшей математике твой Эйнштейн что-нибудь понимает? Когда евреев нет, а антисемитизма полные штаны? Голодный актер из массовки, статист, провизор, портной, счетовод разберутся в этом лучше, чем все твои ученые, к которым ты обожал бегать. Мир пропитался этим грехом, не надо иметь под рукой еврея, чтобы сделаться отличником-антисемитом. Особенно теоретиком.

МИХОЭЛС. Помнишь, я позвал тебя в свой кабинет ночью, в канун тридцатилетия Октября, усадил тебя...

ЗУСКИН (перебивает). Жестом короля Лира усадил на трон, вынул из кармана листок, анонимку, и прочел...

МИХОЭЛС. Ну-ну! Вспомни.

ЗУСКИН. «Жидовская морда, ты больно высоко взлетел, как бы башка не слетела».

МИХОЭЛС. Похоже. Только не «морда», а «жидовская образина». И не «башка», а нежно — «головка».

ЗУСКИН. Не вижу разницы.

МИХОЭЛС. Девяносто девять человек из ста напишут «морда», а «образи́на» только один. Интеллигент. Антисемит-стилист. Человек со вкусом, с хорошим словарным запасом. «Головку» вместо «башки» могла написать даже женщина — эту мысль подала мне Анастасия.

ЗУСКИН (поражен). Ты показал ей письмо?! Я ни слова не сказал Эдде, я пожалел ее.

МИХОЭЛС (с горечью). Иногда я позволяю... прости, позволял,— любимой женщине пожалеть меня. Я — безродный Соломон Вовси, а она, как ни как, графских кровей, урожденная Потоцкая. Случалось, видя, как мучается без хорошей практики антисемит, я жалел его, а она только ненавидела. У-у-у! — как она их люто ненавидит... Душа моя и ангел мой! Чего ты так смотришь на меня?

ЗУСКИН (взволнованно). Теперь я знаю, что такое вечная любовь! Значит можно любить и после смерти...

МИХОЭЛС. Это остается навсегда. Ненависть умирает раньше.

ЗУСКИН (поднимается, превозмогая боль). Никто нас с Эддой не разлучит! Я никого не боюсь, даже тебя, Миха!

МИХОЭЛС. А в ту ночь, в театре — испугался. Разозлился: зачем я напоминаю о недобром? Жизнь такая светлая, удачная, кругом стахановцы, а я каркаю, хочу напалить на шута корону! **(Он протягивает бутафорскую корону Зускину, но тот молча отстраняется).** «Ярмо забот мы с наших дряхлых плеч хотим переложить на молодые и доплестись до гроба налегке...» Не получилось, брат, налегке...

ЗУСКИН-ШУТ (отвечая зову прошлого.) «Если бы ты был моим шутом, дяденька, я бы всегда колотил тебя за то, что ты состарился раньше времени...

МИХОЭЛС-ЛИР. Как это?

(Окончание на 10-й стр.).